

# НА БЕРЕГУ ПРУДА

Сверкнули слюдяные крылышки, и стрекоза опустилась на красный кончик поплавка. Сразу же стрекоз стало две — одна сверху поплавка, другая снизу.

Два неба, два берега.

Одно небо там, где ему и положено быть,— над головой, второе под ногами. И на том и на другом по одинаковому солнцу и одинаковые маленькие белые облачка.

Берег опрокинулся, деревья и кусты окунули вершины в воду, да так и застыли, наслаждаясь прохладой.

Июль. Полдень.

Неслышно подошел сторож, охраняющий совхозный сад, молча сел рядом. На стороже приплюснутая выгоревшая кепка, неопределенного цвета гимнастерка без пояса, на ногах сандалии. За плечами берданка.

Тишина.

Молчание нарушил сторож.

— Ну, как оно? Плохо?.. Может, от жары... Вчера на этом месте один вытянул. Килограмма на полтора...

— Бывает.

Опять помолчали.

— Сами-то из города будете? Чтой-то не признаю вас.

— Из города.

— Так-так... Закурить у вас не будет?

Вынул сигареты, протянул сторожу, закурил сам.

— Работаете али как?

— Работаю.

— А по обличью вроде в годах. На пенсию пора.

— Да уж вот так... Без работы с

тоски пропадешь...

— Это ты правильно,— оживился сторож.— Верное слово. Пропадешь. Это в самую точку. Про себя скажу. Будто мы с тобой годки? А? На заслуженный пора. Никто не осудит. Да разве ж ее бросишь!.. Ты как, по умственной?

— По умственной.

— Всякому свое. Я, конечно, больше по физической.

Сторож затянулся еще раз, сказал с сожалением: «Слаба, никакого вкуса. Дым один» и аккуратно притоптал окурок. Потом, вроде раздумывая, так, для себя, продолжал:

— Да ведь как понимать. Оно и так выходит: физическая без умственной вроде бы и не бывает. Это машина — так та да, чикает себе и чикает. А человеку без ума невозможно. На то он человек.

Помолчали. Потом, видимо, придя к окончательному решению, сторож еще раз подтвердил:

— Невозможно. Верно говорю. Я, брат, за свою жизнь всякую работу превзошел и понятие имею. Ты не смотри, что сторож. Это по причине возраста и руки.

Протянул искаленную руку, повертел ею, чтобы я лучше рассмотрел.

— Видал? Под первый сорт. Да я не жалеюсь. Жив остался, ногами топаю, внутренность на месте, чего надо?

— Где ж ее так?

— Руку-то? Под Таганрогом.

Сторож задумался. И опять сидим молча — торопиться-то нам некуда.

— Вот так-то, мил человек... Из

госпиталя выписали по чистой. Возвнулся в колхоз, на трактор не сел — до войны я трактористом был. С одной рукой разве сядешь? Однако с первого дня включился. На сеялке работал, в бригадах ходил, за налыгач быков тягал. Всякое было. Работы в колхозе невпроворот. В сторожа-то я недавно подался. Оно вроде и хочется чего побольше, да года не пускают. Выбираешь, что по силам. А совсем отойти невозможно, совесть не позволяет. Она, брат, совесть, знаешь, какую силу имеет! Я так располагаю — совесть в человеке наиглавнейшее. Может, кому без нее и легче живется, так то не по человечьи. Не в легкости суть. Совесть, она только человеку дадена. Ее во как охранять надо. В инструкцию ее не впишешь.

— В какую инструкцию?

— Это я так, для примера. Ты слушай-ка, какое дело у меня вышло, не знаю уж, правильно ли я поступил. Решил я сторожевать и пошел по начальству пенсию по причине военной инвалидности схлопотать.

— А чего же раньше не получал?

— В том-то вся суть... А ты не перебивай, я и сам собьюсь. И раньше мог, да незачем было. А как в сторожа подался, заработки, стало быть, меньше, бабка давай зудеть: другие получают, а ты чем хуже, лишняя она тебе? Зачем лишняя? Теперь в самый раз. Все правильно рассудила. Ну, и пошел я по начальству. Документы представил кому положено, тот почитал. «Все, говорит, в ажуре. Положена тебе по всем статьям закона и по всем инструкциям заслуженная пенсия. С самого дня демобилизации. Чего ж до сих не получал?» — аккурт, как ты, спрашивает. Я ему со всей откровенностью — совесть не позволяла. Чую, не дошло. «Какая совесть?» — Обыкновенная, — это я ему отвечаю. Когда, стало быть, в колхоз возвнулся, увидел, как бабы и пацанва без мужиков в одиночестве бьются — и в степу, и на ферме, со всем хозяйством управляют, — поверишь, вот будто взяло что за сердце и сдавило. И представилось мне — и тут бой идет, и тяжелейший бой. И недоедают, и недопивают, о мужиках бабы

слезы льют, а держатся! И, заметь, никаких наград или там отличий не ждут. А для меня, что ж выходит? Война народная закончилась? Герой! Подавай мне пенсию! А еще я вспомнил моих товарищей, с коими на фронте все пополам — и жизнь, и смерть. Вроде бы я еще в строю. И смотрят они будто на меня и ждут... Неужто ж я, хоть и с одной рукой, а выделяться буду, неужто меньше бабы или пацана сработают? Вот по этой причине и не хлопотал, товарищ начальник, не знаю, понял ты меня аль нет, — это я ему объясняю. А он: «Чудила ты! Раз положено, твое право. Ни у кого ты кусок не отымаешь и опять же государство от твоей пенсии не обеднеет, она во всех статьях заранее предусмотрена». Знаю, говорю, не обеднеет и по статьям учтена. А можешь ты понять, что окромя статей и всего прочего есть у человека его собственная совесть, и она обеднеть может, если супротив ее пойти. А? Начальник только головой помотал. Ни черта не понял. Ладно! Справляй свое дело, оформляй по всем инструкциям. Я на тебя не в обиде. Без инструкций, видать, не обойтись. Нас эвона сколько по начальству ходит, каждый со своим, попробуй без инструкции с каждым разберись!.. А совесть — то статья особая. У каждого она на свой жизненный случай припасена. Ее в инструкцию не впишешь... Может, неправильно рассуждаю? А? Ну, как хочешь. Только верь слову: без совести человек на половинку живет. С виду все на месте — и голова, и руки, и ноги, а все ж таки вроде полчеловека.

Рассказ сторожа, — говорил он медленно, с остановками, словно обдумывал сказанное, — нарушил установленный порядок течения времени и оно, измеряемое многими десятилетиями, сжалось в тугую пружину, года уместились в долях секунды и перенесли в сегодня, вот сюда, на берег пруда, далекое, далекое, за тридевять земель отсюда мое детство.

...Захудалый подмосковный городишко. Грузная и высокая, на вид очень суровая бабка Настасья. Кем она доводилась нам, честное слово, до сих пор не знаю. Знаю только, что была она наиглавнейшей правительницей нашей

многочисленной семьи. Она покрикивала на мать, не стеснялась при случае цыкнуть и на отца. И мать, и отец, и мы, ребята, апеллировали к Настасье, как к высшей инстанции, и не помню, чтобы ее приговор когда-нибудь обжаловался. По вечерам высшим счастьем для нас, ребят, было забраться на кухню, где обитала Настасья, есть хрустящую, круто посоленную и сдобренную «постным» маслом вареную картошку, подсушенную в русской печке «на вольном духу», и слушать бабкины рассказы.

Был у меня свой любимый рассказ.

— Ты, слышь-ка,— говорила не спеша бабка Настасья, не переставая двигать вязальными спицами,— мал ты еще, конечно, глупой, а знать о русском человеке должен с малолетства. В Рассее тебе не на фатере жить, ты с ей по гроб жизни своей кровушкой повязан. И поперед всего запомни: николи нельзя русскому человеку совесть свою забывать. Запомни о том навсегда... Ты в Шаповке-то, в деревне нашей, был, ай нет? Что-то запомновала... Ладно. Будто был. Может, помнишь, на самом краю, к лесу, избенку махоньку? Андрюхи Ветлугина изба. И скажи ты, какой незадачливый тот Андрюха! С собой ладный, монополки этой окаянной в рот ни-ни. Ну, конечно, ради праздника бывало, врать не буду. Такая же баба у него, Татьяна. В девках Татьяна видная была, крупчатая. Как поженились Андрюха с Татьяной, всей деревней их величали — гляди, какие у нас мужики да бабы водятся. Идут по деревне, будто лебеди плывут, Лапоточки на них аккуратненькие, одежонка выстирана, выкатана, залатана. Всякое дело им по плечу, на всякую крестьянскую заботу с легким сердцем откликались...

Плавно, как по писаному, течет рассказ Настасьи о такой обычной в те далекие времена крестьянской трагедии.

Появились у Андрюхи и Татьяны дети. Хоть не легко, а жить все-таки можно. Но вот выдался неурожайный год. И покатила под гору Андрюхина жизнь. Зиму кой-как перебились, а что толку? Пришла беда — отворяй ворота. Сначала от бескормицы пала опора

крестьянской семьи — лошадь, потом корова. Напал мор на овец.

— Потемнел Андрюха, с лица скинулся, зубами скрипит, а все старается виду не показать, тужится беду одолеть. Татьяна-то по своему женскому сословию жиге оказалась. Да и то сказать, детенков чай от себя не оторвешь. Ма да ма. Есть хотят. А дать нечего. Ожесточилась Татьяна, совсем от прежней отличная стала. Андрюху поедом ест, на детенков криком кричит — не приведи господи. Чистая ведьма. А то не закричишь! «Руки на себя, наложу, ваши головенки, как у куренков, топором поотрубая»... Бона до чего дошла. А потом заголосит, завоет, волосья на себе дерет: «Детушки мои, кровинушки мои, да какая же я мать, ежели такое вам говорю. Тело свое на кусочки порежу, кровушку по капельке выпущу, вам скормлю-спою, а сгннуть не дам». Тут новая беда. И откель ее лихоманку, воспу, принесло. Почитай, полдеревни в то лето на погост стащили. Воспинки-то на моем лице видишь? Как раз с того времени мета осталась.

Здесь Настасья горестно вздыхала, опускала на колени вязанье и как-то по-особенному внимательно и строго глядела на нас. Потом тихонько продолжала:

— Рядом с Андрюхой Никифор жил. Такой же бедолага — мало ли их на деревне. Только и разница, что у Никифора с его бабой единственная девчонка была. Тезка моя. Настька. Воспа-то и прибрала Никифора с его бабой. Осталась Настька одна, как перст. Годков шести. Родичей у Никифора по деревне не было, пришлые они. Куда Настьке деться? Вот Андрюха и говорит Татьяна: «Слышь, мать. Возьмем к себе Настьку замест дочери. Не пропадать же дитю крестьянскому. Где семеро, там осьмому как-нибудь наскребем». И их ты! Как взвилась Татьяна, как понесла. Прямо вепрь.— «Чего еще придумал, дурья башка! Горе ты мое! Погубитель жизни моей! Сами с голодудохнем, соли нету картоху посолить, а он чужую девку взять хочет. Пропади она пропадом, Настька эта. Пусть подышает». Ка-ак зыкнет Андрюха на Татьяну, а глазищи как уголья горят:

«Замолчь! Дура бессовестная. Как языкто у тебя повернулся такое сказать! Пришибу! Аль мы что, не русские люди? Аль у нас совести нет? Сей момент забирай Настьку и чтоб, как свое родное дитя берегла»... У Татьяны от того страшного голоса сердце захолонуло; николи Андрюху таким не видала. А Андрюха отошел маненько и говорит: «Ну, чего ты? Чего? Ты не очень-то убивайся. Всякое с человеком бывает. Выдюжим как-нибудь. Только без совести русскому человеку никак обойтись нельзя...»

Настасьин рассказ каждый раз — сколько она ни повторяла его — потрясал меня до глубины ребячьей души. Ночью я кричал во сне, плакал, вскакивал с постели. Мать утром выговаривала Настасье: «Нарасскажешь на ночь страшного», а Настасья как всегда спокойно и наставительно поучала мать:

— Ты, Зой, не горюй. Это ничего. Пусть поплачет. Ребятчи слезы чистые. Для его же пользы. Покрепче о совести русской помнить будет. Без совести-то человек на половинку живет...

И вот сейчас как-то особенно остро понял я: сторож, что сидел рядом со мной на берегу пруда, и Настасья из моего далекого детства, повязаны единой незримой нитью. Оба они говорили о совести, но вкладывали в нее куда больший смысл. Сознание своей принадлежности ко всему народу, своей ответственности перед ним, стремление к большой человеческой справедливости, благородное человеческое чувство самопожертвования во имя общего, не это ли скрыто в коротком русском слове «совесть». И во всем своем величии предстала передо мной непрерывность и преемственность того самого главного, что тысячелетиями выкристаллизовывалось, уточнялось и навечно укоренялось в душе русского человека. Множество жесточайших испытаний выдержал он, но не отступал, не сдавался, а креп, закалялся в нестерпимом огне и, освободившись от окалины, засверкал алмазными переливами...

За спиной кто-то завозился, Оглянулся. Трое мальчишек сидят тихонько, охватив руками колени, слушают

сторожа и сосредоточенно смотрят на поплавок.

— Ты скажи! — удивился сторож. — Откуда они берутся? Всюду проникают. Во, босовня! Укараулишь от них. Как раз! Они тебя вокруг обведут и обратно выведут. Ладно, возьми яблоко, разве жалко? Так ветки же ломают, это зачем? Прямо вредители.

— Мы ветки не ломаем, — произнес один из парнишек.

— И вредителями обзывать нечего, — поддержал другой.

— За вредителя и ответить можно, — мрачно проинформировал третий.

— Ты смотри! — рассердился сторож. — Еще и лаются. Это кто ж такие? Федька, Женька? А ну марш отсюда.

— Мы что, мешаем вам?

— Гляди, Женька... Вот встану.

— Уж и посидеть нельзя. Пруд, он что, ваш? Он для всех,

— Сидеть не запрещаю. Берег не просидишь, кроме своих штанов. А ветки ломать не позволю.

— Так не ломаем же мы ветки, говорят вам. Что у нас совести нет? Мы что, не понимаем? Да?

— Эх, рассуждать с вами пообедавши... Женька — это сынок нашего управляющего, Евгения Васильевича, — пояснил мне сторож. Парень вроде ничего, только языкат больно. Федька, это тракториста Михаила, первый дружок Женьки, два сапога пара. А ты чей же будешь, вроде не признаю тебя? — обратился он к третьему.

— Сережка я. Будакин. Забыли, — ухмыльнулся третий.

— А-а... Нины Петровны, бригадирши. И не стыдно вам?

Ребята, как по команде пожали плечами, всем видом показывая, что им ни капельки не стыдно.

— Всегда вы так, дядь Вань. Напрасно на нас наговариваете, — обиженно заговорил Федька. — Все на ребят, все на ребят... Вы видели, когда мы ветки ломали? Видели? Да? Мы что, маленькие? Да? Маленькие?

— Ну, ладно, ладно, поговорили и будет, — явно капитулировал сторож. — Не

ломаете, ну и хорошо. Сидите. Кто вам запрещает. А чтой-то, Сережка, матери сегодня не видать?

— Ее зачем-то Антонина Васильевна вызвала.

— Это, брат, дело другое, раз вызвала. Ты Антонину-то нашу знаешь?— спросил меня сторож. — Агрономшу.

— Главную,— уточнил Федька.

— Ну, ну, правильно. Главную агрономшу Антонину Васильевну? Знаешь? Нет. Вот это, скажу тебе, правильный человек, с совестью, партиец по всем статьям. Я ее, Антонину-то, еще по колхозу помню,— раньше мы колхозом были, это потом нас в совхоз переделали. Антонина и в колхозе агрономшей была. Еще в девках ходила. Серьезная в своем деле бабочка, с принципом. На что Николай Николаич — председатель наш — выдержанный человек, твердого характера, а и тот иной раз утрет, бывало, пот со лба, вздохнет и скажет: «Не могу я с тобой, Антонина, вежливо объясняться, как положено с женщиной. Силов моих больше не хватает. Пойми ты, дурья голова, разве я не понимаю? А отвечать кто перед начальством будет? Ты или я? Постановление читала? До точки ты меня своим упорством довела. Смотри— от всей души заверну я...» — «А ну, попробуйте, товарищ председатель,— это ему Антонина.— Чего ж молчите? Жду. А между прочим, и моих сил не хватает с бюрократам беседовать, и моему терпенью конец есть. Позабыв свое женское, влею я вам не хуже вашего... А что касается постановления, то его не по букве, а по сути понимать надо»... Въедливая бабочка. Только не подумай, что просто так, по-бабскому. Все у нее по делу, обоснованно. Ну, тут Николай Николаевич не выдержит, мужчина-то он, по правде сказать, правильный был, бюрократам его Антонина в сердцах обзывала — начальнику, какой он ни на есть, куда деваться? Сколько над ним еще начальников. Бюрократам-то не по своей воле бывать приходится, жмут на него со всех сторон, одному требуется это, а другому как раз обратное, вот и выбирай, как ловчей локоть укусить. «Эх, говорит,

Антонина, командир ты в юбке. Жалею я, что не могу скинуть годков эдак двадцать с гаком. Всю жизнь о такой мечтал. Окрутил бы тебя, провалиться на этом месте, окрутил бы!» — «Не обрадовались бы, Николай Николаич. Если мы по работе спорим, в рамках служебных, так дома, без рамок, житья бы вам не было». «Это точно! Без рамок ты меня съешь и косточки обгложешь». — Понимаешь, шуткует Николай Николаич с Антониной, вроде шуткой отделаться хочет, а Антонина ему вроде бы подыгрывает, а свою линию гнет. Уважали мы Антонину. Интерес общий она всегда поперед всего ставила. И Николая Николаевича уважали. Его бы директором совхоза поставить, все хозяйство до ниточки знал и народ опять же свой. Да ведь директор не председатель, его не выберешь. А зря... Николая Николаича после одного случая повыше назначили. И это, соображаю, напрасно. Кто его разберет, что повыше, что пониже. Разве малое депо таким хозяйством на практике руководить?

Сторож задумался, тихонько усмехнулся.

— Вот я тебе расскажу, какой у нас в колхозе с той самой Антониной случай вышел, а ты соображай, что к чему. Не помню в каком году, не то в пятьдесят седьмым, не то в пятьдесят восьмым. Вот-вот уборка пшеницы на носу. Подготовили все, как полагается, трактора, комбайны, машины. Ждем, когда Антонина команду даст — в колхозе у нас такой порядок был, агроном уборкой командовал. И приехал о ту пору к нам в колхоз большой начальник, а с ним все районное подначальство. Это правильно! У начальства беспокойство большое, с начальства в первую очередь государство спрашивает, ответственность на начальстве немалая. Ну, заехали в правление, поговорили о чем надо с Николай Николаичем, подхватили его и в степь. Пшеничка в тот год у нас правильная вышла, центнеров по тридцать рассчитывали взять. А большой начальник ходит со всеми по степу и чего-то хмурится. С чего бы? Урожай вроде

подходящий. Остановился начальник со всеми своими подначальниками и эдак в упор к Николаю Николаичу: «Почему не косите? В соседнем колхозе еще позавчера начали». «За соседний колхоз сказать ничего не могу, а у нас вроде бы рановато чуток. Не дошло зерно». «Ах, не дошло? У других дошло, а у тебя не дошло! Полная безответственность! Перестраховщик!— она какое слово.— Только о своем благополучии думаешь, дальше своего носа ничего не видишь, на государственные планы тебе наплевать. На график наплевать. Получишь строгача, сразу зерно пойдет».— Николай Николаич аж почернел, при всем народе его и в хвост и в гриву. Так ведь малому ребенку понятно, что интересы колхоза и государства почитай одни и те же. Говорил потом, еле сдержался. Подначальники тоже молчат, ни за, ни против. Нахмурились, в землю смотрят — дело-то их такое. Наибольший разошелся, приказывает: «Сей момент, при мне, гоните сюда комбайны и чтобы я своими глазами видел, как начали государственные планы выполнять». Вот тут-то откуда ни возьмись Антонина. Спокойненько так говорит, но сурьезно: «Отставить. Никаких комбайнов. Рано косить. Когда надо будет, тогда и начнем». Резанула, как ножом, и смотрит прямо в глаза начальника. А тот на нее. Растерялся. Никто, видишь, ему так не отвечал. Одним словом, не привык к такому обращению. Кто-то из районных подначальников к Антонине: «Дура. Ты знаешь, с кем говоришь? И себя и нас под выговор подводишь».— «А мне все равно с кем,— это Антонина. И голос не снижает.— Только распоряжаться здесь никому не позволю. Вся ответственность на мне. За пшеницу и за государственные планы я здесь отвечаю. Понятно?» Начальник пришел в себя и к Антонине: «Ты кто такая?».— «А мы с вами плохо знакомы, дорогой товарищ, чтобы на ты меня называть. Зовут меня Антонина Васильевна, я агроном колхоза и косить пшеницу запрещаю. Рано. Три-четыре дня обождать следует. Если сегодня начнем косить, потери будут и в количестве и в

качестве. Может, вы тоже агроном? Тогда, простите, плохой вы агроном. А ответственность перед государством я не хуже вашего понимаю потому, что я член партии. Интересы государства и моя партийная совесть в раскорячку не идут». Может, и не точно такими словами Антонина выразилась, а понимай так. Одним словом, врезала. Начальник посмотрел на Антонину, вроде только сейчас заметил, потом подал ей руку, сказал: «До свидания, Антонина Васильевна, обязательно с вами увидимся»,— и молчком в машину, а за ним и остальные. Николай Николаич напоследок обернулся и покачал головой не то с укоризной, не то одобрительно. Как все укатили, бригадир и говорит Антонине: «Теперь держишь, Васильевна. Теперь тебя сперва на терке, а потом через мелкое сито». Антонина усмехнулась.— «Ничего,— говорит, а самой тоже вроде не солнышко светит,— Три к носу. Как-нибудь выдержу. А против совести не пойду, ты хоть что»...

Ну, ладно. День проходит, а к вечеру все колхозное начальство требуют в район, на совещание. Николай Николаич сопит: «И чего тебя понесло,— это он Антонине.— Жди теперь, как на весь район славить начнут. Сдержалась бы. Ну, пригнали бы комбайн, полосу скосили бы. Уехало начальство и опять все на свое место встало бы. Впервой, что ли». «Эх вы, а еще коммунист! Да не могу я на обман идти. Торговать совестью не приучена. Затем я, что ли, в партию вступала, чтобы совестью кривить? В каком это уставе записано?» — Уехали в район, а мы ждем, куда оно повернет. Ты не думай, что мы безучастные. Ишь ты! Колхоз как понимать надо? Коллективное, общее хозяйство. Так? А ежели так, разбирать, кто ответственный, а кто безответственный, не приходится. Все ответственные, все в ответе. Ждем и по своему, по-крестьянски обсуждаем. Чего греха таить, маленько начальство поругиваем, за своих беспокоимся.

А вышло-то совсем неожиданное. Собрались в районе все, кому положено. Начальник речь сказал об ответственности момента. Кого похвалил

чуток, а больше критиковал. А потом и говорит:— «А теперь о самом главном, товарищи. О партийной ответственности, иначе сказать, о партийной совести во всяком деле, а наиглавнейше в таком ответственном для государства деле, как уборка урожая. Без полной ответственности дров можно наломать — на год топить хватит. Был я сегодня в одном колхозе и маху дал, сознаюсь, перебрал свою власть. Не стыжусь об этом перед всеми сказать потому, что я коммунист и поставлен над вами начальником. Значит, с меня втрое спросится. Поправил меня другой коммунист и не меньший начальник в своем деле и зовут того коммуниста Антониной Васильевной. Слышишь, Антонина Васильевна, я это не для тебя говорю, а для всех других. Ты свою линию знаешь и за нее крепко держишься, а они пусть подумают. А за «ты» на меня не обижайся, теперь мы с тобой очень даже хорошо познакомились. Правильно ты поступила, по партийной совести».

Я тебе, конечно, это своими словами пересказываю самую суть, начальник слова другие произносил, какие ему положено, научные. Ну и Николая Николаича затронул: «И ты, председатель, правильную линию ведешь. Молодец. А еще молодец, что кадры настоящие воспитал». Николай Николаич еж поперхнулся и молчок. Не будет же он рассказывать, как кадру воспитывал, на что Антонину подбивал. Соображаю так: вот из-за этих кадров и повысили вскорости Николая Николаича, дескать, опыт воспитания большой имеет, надо другим передавать.

И подначальникам в тот раз досталось: «Бессовестные, — говорит наибольший,— вы люди. Чего вы со мной делаете? Насупротив моего слова не одиножды рта не раскрыли, все поддакиваете. А того не понимаете, что я не только начальник, а и самый что ни на есть обыкновенный человек. Он, ведь, как человек устроен? Ежели его все время по шерстке гладить, вовремя не подсказать, так он чёрт-те что возомнить о себе может».

— Так и сказал?— удивился я. Сторож смущенно хмыкнул.

— Ну, может, и не так, а может, и вовсе не сказал, Меня на том совещании не было. Я не руководящий. Не пригласили. Может, это я от себя выдумал... Только прими во внимание и такое,— раз критику Антонины Васильевны во всеуслышанье признал, почему и не сказать? Выходит, крепкий человек и нутро здоровое, по всей совести настоящее, партийное. Сказал «а», договаривай «б». Очень даже возможно.

Помолчали. Сторож поднялся.

— Вы уж извините. Чего только не наговорил. Так уж пришлось. К слову... Пойду. Все ж таки вроде на посту я.

Мы пожали друг другу руки, прощаясь, сторож приподнял кепку и ушел. Ребята тоже ушли.

Налетел порыв ветра, качнул листья деревьев, сорвался с берега к воде, поднял рябь. Поплавок затанцевал на поднятых ветром волнах.

А вскоре опять стихло, и в небольшом заливишке совхозного пруда вновь отразилось небо, солнце и маленькие белые облачка.